

Литрес ≡ Классика

Михаил Загоскин

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ,
ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ



Михаил Загоскин

**Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году**

«ЛитРес»

1829

Загоскин М. Н.

Юрий Милославский, или Русские в 1612 году /
М. Н. Загоскин — «ЛитРес», 1829

1612 год, разгар Смутного времени. Россия разорена междоусобицами и интервенцией, Москва находится под властью польских войск. Главный герой – молодой боярин Юрий Милославский. По неопытности он присягнул польскому королевичу Владиславу, искренне веря, что это спасёт страну от гибели. Однако суровая реальность заставляет его усомниться в правильности своего выбора: он оказывается перед тяжёлой нравственной дилеммой – соблюсти данную присягу или последовать зову сердца и любви к родине. Осложняет ситуацию внезапная любовь к дочери боярина-изменника, а также новые знакомства – например, с находчивым запорожским казаком Киршой, чьи поступки сильно влияют на судьбу героя. Роман сочетает в себе увлекательный приключенческий сюжет с глубоким описанием народного патриотического подъёма, возглавляемого Мининым и Пожарским

© Загоскин М. Н., 1829

© ЛитРес, 1829

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	12
III	16
IV	22
V	27
VI	31
VII	37
VIII	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Михаил Николаевич Загоскин
Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

* * *

Этот исторический роман написан в 1829 г. Несколько лет автор собирал и обрабатывал материалы эпохи Смутного времени. Роман получил восторженные отклики и вскоре стал самой популярной российской книгой (вспомните реплику Хлестакова в «Ревизоре»). Его рассматривали как литературное чудо. Книгу читали в один присест. Белинский назвал сочинение «первым хорошим русским романом». Его перевели на шесть языков. Жуковский, Пушкин, Мериме, Скотт и другие рукоплескали автору, которому удалось глубоко затронуть чувство национального самосознания, присущее любому социальному слою в России XIX века.

Перу Загоскина принадлежат и такие произведения: «Искуситель», «Концерт бесов», «Нежданные гости», «Вечер на Хопре», «Москва и москвичи».

Часть первая

I



Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие – все угрожало неизбежной гибелью земле русской. Верный сын отечества, боярин Михайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот, по тогдашнему времени, важный своими укреплениями город был уже во власти польского короля Сигизмунда, войска которого под командою гетмана Жолкевского, впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание¹. Им не усту-

¹ Вот что говорит очевидец, поляк Маскевич: «Моей роте досталось на часть два города: Суздаль и Кострома, в 70-ти милях от столицы. Мы тотчас разослали товарищей с лагерною челядью, для собрания живности; но наши так были неумеренны, что, не довольствуясь хорошим обхождением русских, брали без разбора все, что им нравилось, так что у самую знатную боярина

пали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или, лучше сказать, опустошали, Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недалеком расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором; на севере – шведский генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей, и одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета² пана Лисовского, упорно защищалась; малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель. Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили, наконец, усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные слова: «Умрем за веру православную и святую Русь!» – не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.

В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень³, ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушиваясь со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны.

– Полегче, боярин, – сказал он, наконец, с некоторым нетерпением, – твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит.

Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал:

– Прогневали мы господу бога, Юрий Дмитрич! Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шестьдесят, так могли бы сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем – бог весть!

– Не кручинься, Алексей, – отвечал другой путешественник, – завтра мы отдохнем вдоволь.

– Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский?

– Я думаю.

– Дай-то бог!.. Ну, ну, Серко, ступай!.. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?

– Да, и очень скоро.

– Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят, православные ропщут, того и гляди пойдет резня... Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли?..

Оба путешественника остановились; Алексей прыгнул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг остановился как вкопанный.

– Ну, что? – спросил другой путешественник.

– Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг... Ах, батюшки-светы, какая круть! Как бог помиловал!

отнимали насильно жену или дочь...»

² Так назывались в то время партизаны. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

³ Верхнее платье с длинными рукавами и капюшоном. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

– Так мы заплутались?

– Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам теперь делать?

– Искать дороги.

– Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видно!

В самом деле, выюга усилилась до такой степени, что в двух шагах невозможно было различать предметов. Снежная равнина, взрываема порывистым ветром, походила на бурное море; холод ежеминутно увеличивался, а ветер превратился в совершенный вихрь. Целые облака пушистого снега крутились в воздухе и не только ослепляли путешественников, но даже мешали им дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которые на каждом шагу оступались и вязнули в глубоких сугробах, они прошли версты две, не отыскав дороги.

– Я не могу идти далее, – сказал, наконец, тот из путешественников, который, по-видимому, был господином. Он бросил повод своей лошади и в совершенном изнеможении упал на землю.

– Уж не прозяб ли ты, боярин? – спросил другой испуганным голосом.

– Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах. Послушай... если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю Божию и думай только о себе.

– Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою!

– Да, мой добрый Алексей, если мне суждено умереть без исповеди, то да будет его святая воля! Ты устал менее моего и можешь спасти себя. Когда я совсем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если господь поможет тебе найти приют, то ступай завтра в отчину боярина Кручины-Шалонского, – она недалеко отсюда, – отдай ему...

– Как, Юрий Дмитрич! чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью? Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места!

– Алексей! ты должен исполнить последнюю мою волю.

– Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать, так умирать обоим. Но что это?.. Не послышалось ли мне?

Алексей снял шапку, наклонил голову и стал прислушиваться с большим вниманием.

– Хотя б на часок затих этот окаянный ветер! – вскричал он с нетерпением. – Мне показалось, что налево от нас... Чу, слышишь, Юрий Дмитрич?

– В самом деле, – сказал Юрий, приподнимаясь на ноги, – кажется, там лает собака...

– И мне тоже слышится. Дай-то господи! Завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею... поставлю фунтовую свечу... пойду пешком поклониться Печерским чудотворцам... Чу, опять! Слышишь?

– Точно, ты не ошибаешься.

– А где лает собака, там и жилье. Ободришь, боярин, господь не совсем нас покинул.

Кого среди ночного мрака заставала метель в открытом поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной зимней ночи, тот поймет восторг наших путешественников, когда они удостоверились, что точно слышат лай собаки. Надежда верного избавления оживила сердца их; забыв всю усталость, они пустились немедленно вперед. С каждым шагом прибавлялась их надежда, лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего пути.

– Кажется, недалеко отсюда, – сказал Юрий, – я слышу очень ясно...

– И я слышу, боярин, – отвечал Алексей, приостановясь на минуту, – да только этот лай мне вовсе не по сердцу.

– А что такое?

– Ничего, ничего; дай-то бог, чтоб было тут жилье!

Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать и потом с воем

побежала назад. Алексей пошел за нею, но едва он ступил несколько шагов, как вдруг вскричал с ужасом:

– С нами крестная сила! Ну, так... сердце мое чуяло... посмотри-ка, боярин!

Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка в суконном чехле висела у него за спиной, а с правой стороны к поясу привязана была толстая казацкая плетть; татарская шапка, с густым околышем, лежала подле его головы. Собака остановилась подле него и, глядя пристально на наших путешественников, начала выть жалобным голосом.

– Ах, боже мой! – сказал Юрий, – несчастный, он замерз! – Забыв собственную опасность, Юрий наклонился заботливо над прохожим и старался привести его в чувство.

Этот плачевный вид, предвестник собственной их участи, усталость, а более всего обманутая надежда – все это вместе так сильно подействовало на бедного Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянию, он начал называть по именам всех родных и знакомых своих.

– Простите, добрые люди! – вопил он, – прости, моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому: пропали наши головы!

– Полно реветь, Алексей, – сказал Юрий, – поди сюда... Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам удастся разбудить его...

– Эх, родной! и мы скоро заснем, чтоб век не просыпаться.

– Не грехи, Алексей, бог милостив! Посмотри хорошенько: разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.

– Дорога? Постой, боярин... в самом деле... Слава богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать нечего.

– А этот бедный прохожий?

– Дай бог ему царство небесное! уж, видно, ему так на роду написано. Поедем, боярин.

– Нет, я попытаюсь спасти его, – сказал Юрий, стараясь привести в чувство полузамерзшего незнакомца.

Минуты две прошло в бесплодных стараниях; наконец, прохожий очнулся, приподнял голову и сказал несколько невнятных слов. Юрий, при помощи Алексея, поставил его на ноги, но он не мог на них держаться.

– Ну, видишь, Юрий Дмитрич, – сказал Алексей, – нам с ним делать нечего! поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани.

– А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть.

– Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу ближе!

– Алексей, побойся бога! Разве ты не крещеный?

– Да послушай, Юрий Дмитрич: за тебя я готов в огонь и воду, – ты мой боярин, а умирать за всякого прохожего не хочу; дело другое отслужить по нем панихиду, пожалуй!..

– Молчи... и пособи мне посадить его на твою лошадь.

Алексей замолчал и принялся помогать своему господину. Они не без труда подвели прохожего к лошади; он переступал машинально и, казалось, не слышал и не видел ничего; но когда надобно было садиться на коня, то вдруг оживился и, как будто бы по какому-то инстинкту, вскочил без их помощи на седло, взял в руки поводья, и неподвижные глаза его вспыхнули жизнью, а на бесчувственном лице изобразилась живая радость. Черная собака с громким лаем побежала вперед.

– Посмотри, боярин, – сказал Алексей, – он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне: видно, что ездок!.. Ого, да он начал пошевеливаться! Тише, брат, тише! Мой Серко и так устал. Однако ж, Юрий Дмитрич, или мы поразогрелись, или погода становится теплее.

– И мне то же кажется.

– Как бы снег не так валил, то нам бы и думать нечего. Эй ты, мерзлый! Полно, брат, гарцевать, сиди смиреннее! Ну, теперь отлегло от сердца; а давеча пришлось было так жутко, хоть тут же ложись да умирай... Ахти, постой-ка: никак дорога пошла направо. Мы опять едем целиком.

Тут налево от них послышался лай собаки; незнакомый поворотил в ту сторону.

– Куда ты, земляк? Постой! – вскричал Алексей, схватив за повод лошадь, – или хочешь опять замерзнуть?

Но незнакомый махнул плетью и, протаскив несколько шагов за собою Алексея, выехал на большую дорогу.

– Видишь ли, – прошептал он едва внятным голосом, – что моя собака лучше твоего знает дорогу?

– Эге, да ты стал поговаривать! Ну, что, брат, ожил?

Незнакомый не отвечал ничего и, продолжая ехать молча, старался беспрестанным движением разогреть свои оледеневшие члены; он приподнимался на стременах, гнул на ту и другую сторону, махал плетью и спустя несколько минут запел потихоньку, но довольно твердым голосом:

Гой ты море, море синее!
Ты разгулье молодецкое!
Ты прости, моя любимая,
Красна девица-душа!
Не трепать рукою ласковой
Щеки алые твои;
А трепать ли молодцу
Мне широким веслом
Волгу-матушку...

– Ого, товарищ! – сказал Алексей, – да ты никак совсем обтаял – песенки попеваешь!

– Да, добрые люди, спасибо вам! долго бы мне спать, если бы вы меня не разбудили.

– Откуда ты? – спросил Юрий, – и куда пробираешься?

– Из-под Москвы; а куда иду, и сам еще путем не знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой товарищ, добрый конь, выбился из сил и пал; я хотел кой-как добрести до первой деревни...

– А кто ты таков?

– Кто я? Как бы вам сказать... Зовут меня Киршею; родом я из Царицына; служил казаком в Батурине, а теперь запорожец.

– Запорожец! – вскричал Алексей, отскочив в сторону.

– Да, – продолжал спокойно прохожий, – я приписан в Запорожской Сечи к Незамановскому куреню и, без хвастовства скажу, не из последних казаков. Мой родной брат – куренной атаман, а дядя был кошевым.

– Помилуй господи! – сказал Алексей. – Запорожский казак и, верно, разбойник!

– Нет, товарищ, напрасно. В удалстве я от других не отставал, а гайдамаком никогда не был.

– Как же ты попал в здешнюю сторону? – спросил с любопытством Юрий.

– А вот как: я года два шатаюсь по белу свету, и там и сям; да что-то в руку нейдет. До меня дошел слух, что в Нижнем Новгороде набирают втихомолку войско; так я хотел попытать счастья и пристать к здешним.

– Против кого?

– А мне что за дело? Про то панство знает, была бы только пожива; ведь стыдно будет вернуться в мой курень с пустыми руками. Другие выставят на улицу чаны с вином и станут потчевать всех прохожих, а мне и кошевому нечего будет поднести.

– Зачем же ты не пристал к войску гетмана Жолкевского?

– Спроси лучше, зачем отстал?

– Так ты беглый?

– Кто? я беглый? – сказал прохожий, приостановя свою лошадь. Этот вопрос был сделан таким голосом, что Алексей невольно схватился за рукоятку своего охотничьего ножа. – Добро, добро, так и быть, – продолжал он, – мне грешно на тебя сердиться. Беглый! Нет, господин честной, запорожцы – люди вольные и служат тому; кому хотят.

– Но разве вы не должны служить королю Сигизмунду?

– Должны! так говорят и старшие, только вряд ли когда запорожский казак будет братом поляку. Нечего сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все божье, да наше! Но жгли ли мы храмы господни? ругались ли верою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы! Как бог еще терпит!

– Но все эти беспорядки скоро прекратятся: московские жители добровольно избрали на царство сына короля польского.

– Добровольно! Хороша воля, когда над тобой стоят с дубиною... нехотя закричишь: давай нам королевича Владислава! Нет, господин честной, не пановать над Москвою этому иноверцу. Дай только русским опериться!

– Но, кажется, дело кончено, и когда вся Москва присягнула польскому королевичу...

– Мало ли что кажется! Вот и мне несколько раз казалось, что там направо светит огонек, а теперь ничего не вижу.

– Огонь! где ты видишь? – вскричал Алексей.

– А вон, посмотри: опять показался; видишь – там, как свечка теплится?

Путешественники остановились. Направо, с полверсты от дороги, мелькал огонек; они поворотили в ту сторону, и через несколько минут Алексей, который шел впереди с собакою, закричал радостным голосом:

– Сюда, Юрий Дмитрич, сюда! Вот и плетень! Тише, боярин, тише! околица должна быть левее – здесь. Ну, слава тебе господи! – продолжал он, отворяя ворота. – Доехали!.. и вовремя: слышишь ли, как опять завыл ветер? Да пусть теперь бушует как хочет; нам и горюшки мало: в избе не озябнем.

– А разве мы одни теперь в дороге? – сказал Юрий, глядя с беспокойством на ужасный вихрь, который снова свирепствовал в поле.

– Кому быть убиту, тот не замерзнет, – прошептал Кирша, въезжая в околицу.

II

Деревушка, в которую въехали наши путешественники, находилась в близком расстоянии от зимней дороги, на небольшом возвышении, которое во время разлива не понималось водой. Несколько дымных лачужек, разбросанных по скату холма, окружали избу, менее других походящую на хижину. Красное окно, в котором вместо стекол вставлена была налитая маслом полупрозрачная холстина, обширный крытый двор, а более всего звуки различных голосов и громкий гул довольно шумной беседы, в то время как во всех других хижинах царствовала глубокая тишина, – все доказывало, что это постоянный двор и что не одни наши путешественники искали в нем приюта от непогоды.

Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, те же полаты, большой стол, лавки и передний угол, украшенный иконами святых угодников.

В течение двух столетий изменились только некоторые мелкие подробности: в наше время в хорошей белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены украшаются иногда картинками, представляющими «Шемякин суд» или «Мамаево побоище»; в семнадцатом веке эта роскошь была известна одним боярам и богатым купцам гостиной сотни⁴. Следовательно, читателям нетрудно будет представить себе внутренность постоянного двора, в котором за большим дубовым столом сидело несколько проезжих. Пук горящей лучины, воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на все общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно было догадаться, что они только что отужинали и вместо десерта запивали гречневую кашу брагою, которая в большой медной ендове стояла посреди стола. Вдоль стены на лавке сидели трое проезжих; один из них, одетый в лисью шубу, говорил с большим жаром, не забывая, однако же, подливать беспрестанно из ендовы в свою дорожную кружку. Оба его соседа, казалось, слушали его с большим вниманием и с почтением отодвигались каждый раз, когда оратор, приходя в восторг, начинал размахивать руками. С первого взгляда можно было отгадать, что человек в лисьей шубе – зажиточный купец, а оба внимательные слушатели – его работники. Насупротив их сидел в красном кафтане, с привешенною к кушаку саблю, стрелец; шапка с остроконечною тульею лежала подле него на столе; он также с большим вниманием, но вместе и с приметным неудовольствием слушал купца, рассказ которого, казалось, производил совершенно противное действие на соседа его – человека среднего роста, с рыжей бородою и отвратительным лицом. В косых глазах его, устремленных на рассказчика, блистала злобная радость; он беспрестанно вертелся на скамье, потирал руки и казался отменно довольным. Трудно было бы отгадать, к какому классу людей принадлежал этот последний, если бы от беспрестанного движения не распахнулся его смурый однорядок и не открылись вышитые красной шерстью на груди его кафтана две буквы: З и Я, означавшие, что он принадлежит к числу полицейских служителей, которые в то время назывались... я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей, но, соблюдая сколь возможно историческую истину, должен сказать, что их в семнадцатом столетии называли земскими ярыжками. В переднем углу, под образами, сидел человек лет за сорок, одетый весьма просто; черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствие человека, уверенного в необычайной своей силе; широкие плеча, жилистые руки, высокая богатырская грудь – все оправдывало эту последнюю догадку. Облокотясь небрежно на стол, он, казалось, не обращал никакого внимания на своих соседей и только изредка погля-

⁴ Гостиную сотню составляли богатейшие купцы. В Новгороде они назывались именитыми людьми Их можно сравнить с нынешними купцами первой гильдии.

дывал на полицейского служителя: ничем неизъяснимое презрение изображалось тогда в глазах его, и этот взгляд, быстрый, как молния, которая, блеснув, в минуту потухает, становился снова неподвижным, выражая опять одну задумчивость и совершенное равнодушие к общему разговору.

– Помилуй господи!.. – вскричал стрелец, когда человек в лисьей шубе кончил свой рассказ, – неужто в самом деле вся Москва целовала крест этому иноверцу?⁵

– Разве ты не слышишь? – сказал земский. – И чему удивиться? Плетью обуха не перешибешь; да и что нам, мелким людям, до этого за дело?

– Как что за дело! – возразил купец, который между тем осушил одним глотком кружку браги, – да разве мы не православные? Мало ли у нас князей и знаменитых бояр? Есть из кого выбрать. Да вот не далеко идти: хоть, например, князь Димитрий Михайлович Пожарский...

– Нашел человека! – подхватил земский. – Князь Пожарский!.. – повторил он с злобной улыбкою, от которой безобразное лицо его сделалось еще отвратительнее. – Нет, хозяин, у него поляки отбили охоту соваться туда, куда не спрашивают. Небойсь хватился за ум, убрался в свою Пурецкую волость да вот уже почти целый год тише воды ниже травы, чай, и теперь еще бока побаливают.

– Да и поляки-то, брат, не скоро его забудут, – сказал стрелец, ударив рукой по своей сабле. – Я сам был в Москве и поработал этой дурью, когда в прошлом марте месяце, помнится, в день святого угодника Хрисанфа, князь Пожарский принялся колотить этих незваных гостей. То-то была свалка!.. Мы сделали на Лубянке, кругом церкви Введения божией матери, засеку и ровно двое суток отгрызались от супостатов...

– А на третьи насилу ноги уплели!

– Что ж делать, товарищ: сила солому ломит. Сам гетман нагрянул на нас со всем войском...

– И, чай, Пожарский первый дал тягу? Говорят, он куда легок на ногу.

Тут молчаливый проезжий бросил на земского один из тех взглядов, о которых мы говорили; правая рука его, со сжатым кулаком, невольно отделилась от стола, он сам приподнялся до половины... но прежде, чем кто-нибудь из присутствовавших заметил это движение, проезжий сидел уже, облокотясь на стол, и лицо его выражало по-прежнему совершенное равнодушие.

– Послушай, товарищ, – сказал стрелец, посмотрев молча несколько времени на земского, – кажется, ты не о двух головах!

– Так что ж?

– А то, любезный, что другой у тебя не останется, как эту сломят. Ну, пристало ли земскому ярыжке говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек смиренный, а у другого бы ты первым словом подавился! Я сам видел, как князя Пожарского заперто вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый, хотя бы повстречался с самим сатанюю, на которого, сказать мимоходом, ты с рож-то очень похож.

Осанистый купец улыбнулся, его работники громко захохотали, а земский, не смея отвечать стрельцу, ворчал про себя: «Бранись, брат, бранись, брань на ворота не виснет. Вы все стрельцы – буяны. Да не долго вам храбриться... скоро язычок прикусите!»

– Господин земский, – сказал с важностию купец, – его милость дело говорит: не личит нашему брату злословить такого знаменитого боярина, каков светлый князь Димитрий Михайлович Пожарский.

⁵ Московские жители целовали крест царевичу Владиславу в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали уже об этом не только близ Нижнего Новгорода, да и в самых отдаленных провинциях царства Русского. Тушинский вор также убит в 1610 году. Сочинитель винится в сих анахронизмах.

– Да я не свои речи говорю, – возразил земский, оправясь от первого испуга. – Боярин Кручина-Шалонский не хуже вашего Пожарского, – послушайте-ка, что о нем рассказывают.

– Боярин Кручина-Шалонский? – повторил купец. – Слыхали мы об его уме и дородстве!.. У нас в Балахне рассказывали, что этот боярин Шалонский...

– Ведет хлеб-соль с поляками, – подхватил стрелец. – Ну да, тот самый! Какой он русский боярин! хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои отчины, забыл бога и даже – прости господи мое согрешение! – прибавил он, перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом, – и даже говорят, будто бы он... вымолвить страшно... ест по постам скоромное?

– Ах он безбожник! – вскричал купец, всплеснув руками. – И господь бог терпит такое беззаконие!

– Потихе, хозяин, потихе! – сказал земский. – Боярин Шалонский помолвил дочь свою за пана Гонсевского, который теперь гетманом и главным воеводою в Москве: так не худо бы иным прочим держать язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна не за тридевять земель от Москвы, да и сам боярин шутить не любит: неравно прилучится тебе ехать мимо его поместьев с товарами, так смотри, чтоб не продать с накладом!..

– Оборони господи! – вскричал купец, побледнев от страха, – да я, государь милостивый, ничего не говорю, видит бог, ничего! Мы люди малые, что нам толковать о боярах...

– А куда ваша милость едет? – продолжал земский. – Не назад ли в Балахну?

– На что тебе, добрый человек?

– Да так!.. Большая дорога идет через боярское село, а проселочных теперь нет; так волей или неволей, а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны всякие товары.

– Да со мною ничего нет; видит бог, ничего! Все продал в Костроме.

– И, верно, на чистые денежки?

– Какие чистые! Всё в долг! Разоренье да и только!

– А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой целый мешок денег: посмотри, как левая сторона отдулась!

Холодный пот выступил на лбу у бедного купца; он невольно опустил руку за пазуху и сказал вполголоса, стараясь казаться спокойным:

– Смотри, пожалуй... в самом деле! кажись будто много, а всего-то на все две-три новгородки⁶ да алтын пять медных денег: не знаю, с чем до дому доехать!

– Жаль, хозяин, – продолжал земский, – что у тебя в повозках, хоть, кажется, в них и много клади, – прибавил он, взглянув в окно, – не осталось никаких товаров: ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонский и богат и тароват. Уж подлинно живет по-барски: хоромы, как царские палаты, холопей полон двор, мяса хоть не ешь, меду хоть не пей; нечего сказать – разливанное море! Чай, и вы о нем слыхали? – прибавил он, оборотясь к хозяину постоянного двора.

– Как-ста не слыхать, господин честной, – отвечал хозяин, почесывая голову. – И слыхали и видали: знатный боярин!..

– А уж какой благой, бог с ним! – примолвила хозяйка, поправляя нагоревшую лучину.

– Молчи, баба, не твое дело.

– Вестимо, не мое, Пахомыч. А каково-то нашему соседу, Васьяну Степанычу? Поспросай-ка у него.

– А что такое он сделал с вашим соседом? – спросил стрелец.

– А вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик, один сын у матери. Опомнясь боярин зазвал его к себе пображничать: что ж, батюшка?.. для своей потехи зашил его в медвежью шкуру, да и ну травить собакою! И, слышь ты, они, и барин и собака, так остервенились, что

⁶ Мелкая серебряная монета. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

насилу водой разлили. Привезли его, сердечного, еле жива, а бедная-то барыня уж вопила, вопила!.. Легко ль! неделю головы не приподымал!

– Ах ты простоволосая! – сказал земский. – Да кому ж и тешить боярина, как не этим мелкопоместным? Ведь он их поит и кормит да уму-разуму научает. Вот хотя и ваш Васьян Степанович, давно ли кричал: «На что нам польского королевича!», а теперь небойсь не то заговорил!..

– Да, кормилец, правда. Он говорит, что все будет по-старому. Дай-то господь! Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик – остался, не люб – пошел куда хошь.

– А вам бы только шататься да ничего не платить, – сказал стрелец.

– Как-ста бы не платить, – отвечал хозяин, – да тяга больно велика: поборы поборами, а там, как поедешь в дорогу: головщина, мыт, мостовщина...

– Вот то-то же, глупые головы, – прервал земский, – что вам убыли, если у вас старшими будут поляки? Да и где нам с ними возиться! Недаром в писании сказано: «Трудно прать против рожна». Что нам за дело, кто будет государствовать в Москве: русский ли царь, польский ли королевич? было бы нам легко.

Тут деревянная чаша, которая стояла на скамье в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры обратились на молчаливого проезжего: глаза его сверкали, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали; казалось, он хотел одним взглядом превратить в прах рыжего земского.

– Что с тобою, добрый человек? – сказал стрелец после минутного общего молчания.

Незнакомый как будто бы очнулся от сна: провел рукою по глазам, взглянул вокруг себя и прошептал глухим, отрывистым голосом:

– Тьфу, батюшки! Смотри, пожалуй! никак я вздремнул!

– И верно, тебе померещилось что ни есть страшное? – спросил купец.

– Да!.. я видел и слышал сатану.

Купец перекрестился, работники его отодвинулись подалее от незнакомца, и все с каким-то ужасом и нетерпением ожидали продолжения разговора; но проезжий молчал, а купец, казалось, не смел продолжать своих вопросов. В эту минуту послышался на улице конский топот.

– Чу! – сказал хозяин, – никак еще проезжие! Слышишь, жена, Жучка залаяла! Ступай посвети.

Ворота заскрипели, громкий незнакомый лай, на который Жучка отвечала робким ворчаньем, раздался на дворе, и через минуту Юрий вместе с Киршеем вошли в избу.

III

– Хлеб да соль, добрые люди! – сказал Юрий, помолясь иконам.

– Милости просим! – отвечал хозяин.

– Ах, сердечный! – вскричала хозяйка, – смотри, как тебя занесло снегом! То-то, чай, назябся!

– А вот отогреемся, – сказал Кирша, помогая Юрию скинуть покрытый снегом охабень.

– Да это никак боярин, – шепнула хозяйка своему мужу.

Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом, обшитом галунами полукафтанье; к шелковому кушаку привешена была польская сабля; а через плечо на серебряной цепочке висел длинный турецкий пистолет. Остриженные в кружок темно-русые волосы казались почти черными от противоположности с белизною лица, цветущего юностью и здоровьем; отвага и добродушие блистали в больших голубых глазах его; а улыбка, с которою он повторил свое приветствие, подойдя к столу, выражала такое радушие, что все проезжие, не исключая рыжего земского, встав, сказали в один голос: «Милости просим, господин честной, милости просим!» – и даже молчаливый незнакомец отодвинулся к окну и предложил ему занять почетное место под образами.

– Спасибо, добрый человек! – сказал Юрий. – Я больно прозяб и лягу отогреться на печь.

– Откуда твоя милость? – спросил купец.

– Из Москвы, хозяин.

– Из Москвы! А что, господин честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?

– Правда.

– Вот тебе и царствующий град! – вскричал стрелец. – Хороши москвичи! По мне бы уже лучше покориться Димитрию.

– Покориться? кому? – сказал земский. – Самозванцу?.. Тушинскому вору?..

– Добро, добро! называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк; а этот королевич Владислав, этот еретик...

– Слушай, товарищ! – сказал Юрий с приметным неудовольствием, – я до ссор не охотник, так скажу наперед: думай что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори.

– А почему бы так?

– А потому, что я сам целовал крест королевичу Владиславу и при себе не дам никому ругаться его именем.

Сожаление и досада изобразились на лице молчаливого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным участием на Юрия, который, во всей красоте отвагой кипящего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым взглядом, казалось, вызывал смельчака, который решился бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором все собрание и не замечая ни на одном лице охоты взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут никто не пытался возобновить разговора; наконец, земский, с видом величайшего унижения, спросил у Юрия:

– Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град Москву?

– Его ожидают, – отвечал Юрий отрывисто.

– А что, ваша милость, чай, уж давным-давно и послы в Польшу отправлены?

– Нет, не в Польшу, – сказал громким голосом молчаливый незнакомец, – а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский в то время, как в Москве целуют крест его сыну.

Юрий приметным образом смутился.

– Уж эти смоляне! – вскричал земский. – Поделом, ништо им! Буяны!.. Чем бы встретить батюшку, короля польского, с хлебом да с солью, они, разбойники, и в город его не пустили!

– Эх, господин земский! – возразил купец, – да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей отчиной.

– Так что ж? – продолжал земский. – Уж если мы покорились сыну, так отец волен брать что хочет. Не правда ли, ваша милость?

Лицо Юрия вспыхнуло от негодования.

– Нет, – сказал он, – мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части святую Русь! Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если б он не обещал сохранить землю русскую в прежней ее славе и могуществе?

– И, государь милостивый! – подхватил земский, – можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленском. Не важное дело один городишко! Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол-Москвы можно отступиться.

– Я повторяю еще, – сказал Юрий, не обращая никакого внимания на слова земского, – что вся Москва присягнула королевичу; он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдержит свое обещание, то я первый готов положить за него мою голову. Но тот, – прибавил он, взглянув с презрением на земского, – тот, кто радуется, что мы для спасения отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не православный и даже – хуже некрещеного татарина!

Молчаливый незнакомец с живостию протянул свою руку Юрию; глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать; но Юрий, не заметив этого движения, отошел от стола, взобрался на печь и, разостлав свой широкий охабень, лег отдохнуть.

– А что, – спросил Кирша у хозяина, – чай, проезжие гости не все у тебя приели?

– Щей нет, родимый, – отвечал хозяин, – а есть только толокно да гречневая каша.

– И на том спасибо! Давай-ка их сюда.

– А его милость что будет кушать? – спросила заботливо хозяйка, показывая на Юрия.

– Не хлопочи, тетка, – сказал Алексей, войдя в избу, – в этой кисе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь, поставь в печь... Послушайте-ка, добрые люди, – продолжал он, обращаясь к проезжим, – у кого из вас гнедой конь с длинной гривой?

– Это мой жеребец, – отвечал молчаливый незнакомец.

– Ой ли? Ну, брат, какой знатный конь! Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорет! Ступай-ка скорей: он отвязался и бегаёт по двору.

Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы.

– Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? – спросил земский у хозяина.

– А бог весть кто! – отвечал хозяин. – Кажись, не наш брат крестьянин: не то купец, не то посадский...

– Откуда он едет?

– Господь его знает! Вишь, какой леший, слова не вымолвит!

– Да! у него лицо не миловидное, – заметил купец. – Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться.

– А какой ражий детина! – примолвил стрелец, – я таких богатырских плеч сродясь не видывал.

Между тем Алексей и Кирша сели за стол.

– Ну, брат, – сказал Алексей, – тесненько нам будет: на полатях лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам сидя.

– Молчи! будет просторно, – шепнул Кирша, принимаясь есть толокно.

Купец, который не смел обременять вопросами Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить первый голод, он спросил его: давно ли они из Москвы?

– Седьмой день, хозяин, – отвечал Алексей. – Словно волов гоним! День стоим, два едем. Вишь, какую погоду бог дает!

– А что, вы московские уроженцы?

– Как же! мы оба с барином природные москвичи.

– Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?

– Вестимо, хозяин! Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминуемую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу полетел, проклятый!

– Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки, – сказал стрелец. – Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!.. Чему ж ты ухмыляешься? – продолжал он, обращаясь к купцу. – Чай, и до тебя этот слух дошел?

– Не всякому слуху верь, – сказал с важностию купец.

– Знаю, знаю! вы люди грамотные, ничему не верите.

– Ученье свет, а неученье тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует! Так и надо всему верить? Ну, рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева.

– Оно, кажись, и так, хозяин, – продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством, – однако ж вся Москва говорит об этом.

– Да она и теперь еще около Москвы летает, – сказал Кириша, положи на стол деревянную ложку, которою ел толокно.

– Неужели в самом деле? – вскричал купец.

– Я сам ее видел, – продолжал спокойно запорожец.

– Как видел?

– А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея. Не правда ли?

– Ну, да; так что ж?

– Ничего.

– Но где ж ты ее видел?

– Где? Как бы тебе сказать?.. Не припомню... у меня морозом всю память отшибло.

– Добро, добро, – сказал купец, – дай-ка сюда свой стакан...

– Спасибо! Да наливай полнее... Хорошо! Ну, слушай же, – продолжал запорожец, выпив одним духом весь стакан, – я видел Маринку в Тушине, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походит.

– В Тушине?

– Да, в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем.

– Вот что!.. Так ты и Тушинского вора знаешь?

– Как не знать!

– Правда ли, что он молодчина собою? – спросил стрелец.

– Какой молодчина!.. Ни дать ни взять польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский, так нечего сказать – удалая голова!

– Лисовский! – вскричал купец. – Этот злодей!.. душегубец!..

– Да, хозяин, где он пройдет с своими сорванцами, там хоть шаром покати! – все чисто: ни кола ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головою – лихой наездник!

– Так ты его знаешь? – спросил купец.

– Как не знать! Дай-ка, хозяин, еще стаканчик... За твое здоровье!..

– Говорят, у этого Лисовского, – сказал купец, спрятав за пазуху свою фляжку, – такое демонское лицо, что он и на человека не походит.

– Да, он не красив собою, – продолжал Кирша. – Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись...

– А теперь? – спросил купец.

– Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен только для вашей братьи купцов.

– Кто ж этот человек?

– Кто этот человек?.. Кой прах! у меня опять в горле пересохло... Дай-ка, хозяин, свою фляжку... Спасибо! – продолжал Кирша, осушив ее до дна. – Ну, что бишь я говорил?

– Ты говорил о каком-то человеке, – сказал купец, – который, по твоим словам, страшнее Лисовского.

– Да, да, вспомнил! этот верзила был есаулом у разбойничьего атамана Хлопки...

– У которого, – сказал земский, – было в шайке тысяч двадцать разбойников и которого еще при царе Борисе...

– Разбил боярин Басманов, – прервал Кирша. – Ну да; самого Хлопку-то убили, а есаул его ускользнул. Да вы, чай, о нем слышали? Он прозывается Чертов Ус.

– Как не слышать, – сказал купец. – Оборони господи! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана.

– А пуще-то всего он не жалуется губных старост да земских, – примолвил Кирша. – Кругом Калуги не осталось деревца, на котором бы не висело хотя по одному земскому ярыжке.

– Разбойник! – закричал земский.

– А разве ты его знавал? – спросил купец запорожца.

– Знакомства с ним не водил, а видать видал.

– Где же ты видел?

– Я видел его два раза, – отвечал Кирша. – Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань; а во второй... – прибавил он вполголоса, но так, что все его слышали, – а во второй раз – я видел его здесь.

– Как здесь?.. – вскричал купец, помертвев от ужаса.

– Давно ли? – спросил земский заикаясь.

– Сегодня, – отвечал равнодушно Кирша.

– Сегодня?.. – повторил купец глухим, прерывающимся голосом. – С нами крестная сила! Да где ж он?..

– Сейчас сидел вон там – в переднем углу, под образами.

– Так это он! – вскричал купец, и все взоры обратились невольно на пустой угол. Несколько минут продолжалось мертвое молчание, потом все пришло в движение на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он успокоился. Купец и его работники едва дышали от страха; земский дрожал; стрелец посматривал молча на свою саблю; но хозяин и хозяйка казались совершенно спокойными.

– Да чего мы так перепугались? – сказал стрелец, собравшись с духом. – Нас много, а он один.

– А бог весть, один ли! – возразил земский. – Он что-то часто в окно поглядывал.

– Да, да, – подхватил дрожащим голосом купец, – он точно кого-то дожидался. А за поясом у него... видели, какой ножище? аршина в два!

– Слушай, хозяин, – сказал торопливо земский, – беги скорей на улицу, вели ударить в набат!..

– Эж-ста, что выдумал! В набат! – отвечал хозяин. – Да разве здесь село? У нас и церкви нет.

– Все равно! сделай тревогу, собери народ!.. Да скачи скорей к губному старосте⁷; он верстах в пяти отсюда и мигом прикатит с объезжими.

– Что ты, бог с тобою! – вскричала хозяйка. – Да разве нам белый свет опостылел! Станем мы ловить разбойника! Небойсь наш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу деревню! Нет, кормилец, ступай себе, лови его на большой дороге; а у нас в дому не тронь.

– Дура! – сказал стрелец, – да разве ты не боишься, что он вас ограбит?

– И, батюшка, около нас какая пожива! Проводим его завтра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо скажет.

– Да нам и не впервой, – прибавил хозяин. – У нас стаивали не раз, – вот эти, что за польским-то войском таскаются... как бишь их зовут?.. да! лагерная челядь. Почище наших разбойников, да и тут бог миловал!

– Ну, как хотите, – сказал купец, – ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей! да бога ради проворнее.

– Так и я с тобою, – сказал стрелец. – Тебе будет поваднее со мною ехать; видишь, у меня есть чем оборониться.

– Возьмите уж и меня, – прибавил вполголоса земский, – я здесь ни за что один не останусь. Видите ли, – продолжал он, показывая на Киршу и Алексея, – мы все в тревоге, а они и с места не тронулись; а кто они? Бог весть!

– Правда, правда! – шепнул купец, поглядывая робко на Киршу. – Посмотрите-ка, у этого озорника, что вытянул всю мою флягу, нож, сабля... а рожа-то какая, рожа!.. Ух, батюшки! Унеси господь скорее!..

Двери отворились, и незнакомый вошел в избу. Купец с земским прижались к стене, хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами; а стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подостлал под голову свою шубу и расположился на скамье, у передних окон. Все проезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы.

– Теперь растолкуй мне, Кирша, – сказал вполголоса Алексей, – что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего?

– Как что? Посмотри, какой простор!.. На любой лавке ложись!

– Ну, а как он об этом узнает?

– Так мне же скажет спасибо.

– Есть за что; а если его схватят?..

– Ах ты голова, голова! То ли теперь время, чтоб хватать разбойников? Теперь-то им и житье: все их боятся, а ловить их некому. Погляди, какая честь будет этому проезжему: хозяин с него и за постой не возьмет.

Через несколько минут купец, в провожании земского и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора. Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака вбежала в избу.

– Теперь и тебе будет место, – сказал он, бросив ей большой ломоть хлеба. – Поужинай, Зарез, поужинай, голубчик! Ты, чай, больно проголодался.

Это напомнило Алексею, что барин его также еще не ужинал; но, видя, что Юрий спит крепким сном, он не решился будить его.

– Скажи-ка мне, – спросил запорожец, ложась на скамью подле Алексея, – верно, у твоего боярина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен.

– Да, брат, есть горе.

– Что, чай, сокрушила молодца красна девица?

– Вот то-то и беда! Изволишь видеть...

⁷ Почти то же, что нынешний капитан-исправник. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

Тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказывать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал:

– Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак! У нас в куренях от этого не сохнут; живем, как братья, а сестер нам не надобно⁸. От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!

Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от времени до времени на полатах принимались реветь ребятишки; но заботливая мать попеременно то колотила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту приходило в прежний порядок и тишину.

⁸ Большая часть запорожских казаков, получивших сие название от Днепровских порогов, за которыми они поселились, была составлена из холостых людей всех состояний. Женатые казаки имели в разных местах и в довольном расстоянии от главного их местопребывания, известного под именем Сечи, особые дома, называемые зимовками, в которых жили их жены с семействами; а в самой Сечи не дозволялось жить ни одной женщине.

IV

Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей, и, в то время как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения.

– Гей! отпирайте проворней!.. – раздался под окном грубый голос. – Да ну же, поворачивайтесь! не то ворота вон!

Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с полатей, нетерпение вновь приехавших дошло до высочайшей степени; они стучали в ворота, бранили хозяина, а особливо один, который испорченным русским языком, примешивая ругательства на чистом польском, грозился сломить хозяину шею. На постоялом дворе все, кроме Юрия, проснулось от шума. Наконец, ворота отворились, и толстый поляк, в провожании двух казаков, вошел в избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал сиповатым басом:

– Гей! хозяин! что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда!.. Эй; вы! оглохли, что ль? Вон, говорят вам!

Молчаливый проезжий приподнял голову и, взглянув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на изголовье. Алексей и Кирша вскочили; последний, протирая глаза, глядел с приметным удивлением на пана, который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше, опоясанном богатым кушаком.

Если б нужно было живописцу изобразить воплощенную – не гордость, которая, к несчастью, бывает иногда пороком людей великих, но глупую спесь – неотъемлемую принадлежность душ мелких и ничтожных, – то, списав самый верный портрет с этого проезжего, он достиг бы совершенно своей цели. Представьте себе четверугольное туловище, которое едва могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах; величественно закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое, багровое лицо; огромные, оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, похожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые щеки, разруганные природою и частым употреблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в каждом движении и даже в самом голосе, который, переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый дишкант, изображал попеременно то надменную волю знаменитого вельможи, уверенного в безусловном повиновении, то неукротимый гнев грозного повелителя, коего приказания не исполняются с должной покорностью.

Меж тем как этот проезжий отдавал казакам какие-то приказания на польском языке, Кирша не переставал на него смотреть. На лице запорожца изображались попеременно совершенно противоположные чувства: сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить; потом презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они заблестали веселостью и почти в то же время, при встрече с гордым взглядом поляка, изъявляли глубочайшую покорность, которую, однако ж, трудно было согласить с насмешливой улыбкою, едва заметною, но не менее того выразительною.

– Ну, что ж вы стали? – сказал пан грозным басом, оборотясь снова к Алексею и Кирше. – Иль не слышали?.. Вон отсюда!

Повелительный голос поляка представлял такую странную противоположность с наружностью, которая возбуждала чувство, совершенно противное страху, что Алексей, не думая повиноваться, стоял как вкопанный, глядел во все глаза на пана и кусал губы, чтоб не лопнуть со смеху.

– Цо то есть! – завизжал дишкантом поляк. – Ах вы москали! Да знаете ли, кто я?

– Не гневайся, ясновельможный пан! – сказал с низким поклоном Кириша. – Мы спросо-
нья не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассветет,
так мы и в дорогу.

– А это что за неуч растянулся на скамье? – продолжал пан, взглянув на молчаливого
прохожего. – Гей ты, олух!

Незнакомый приподнялся, но, вместо того чтобы встать, сел на скамью и спросил хлад-
нокровно у поляка: чего он требует?

– Пошел вон из избы!

– Мне и здесь хорошо.

– И ты еще смеешь рассуждать! Вон, говорят тебе!

– Слушай, поляк, – сказал незнакомый твердым голосом, – постоянный двор не для тебя
одного выстроен; а если тебе тесно, так убирайся сам отсюда.

– Цо то есть? – заревел поляк. – Почекай, москаль, почекай⁹. Гей, хлопцы! вытолкайте
вон этого грубияна.

– Вытолкать? меня?.. Попробуйте! – отвечал незнакомый, приподымаясь медленно со
скамьи. – Ну, что ж вы стали, молодцы? – продолжал он, обращаясь к казакам, которые, не смея
тронуться с места, глядели с изумлением на колоссальные формы проезжего. – Что, ребята,
видно – я не по вас?

– Рубите этого разбойника! – закричал поляк, пятась к дверям. – Рубите в мою голову!

– Нет, господа честные, прошу у меня не буйнить, – сказал хозяин. – А ты, добрый чело-
век, никак забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь, вторые петухи поют?

– И впрямь пора запрягать, – сказал торопливо проезжий и, не обращая никакого вни-
мания на поляка и казаков, вышел вон из избы.

– Ага! догадался! – сказал поляк, садясь в передний угол. – Счастлив ты, что унес ноги,
а не то бы я с тобою переведался. Нех их вшисци дьябли везмо!¹⁰ Какие здесь буюны! Видно,
не были еще в переделе у пана Лисовского.

– Пана Лисовского? – повторил Кириша. – А ваша милость его знает?

– Как не знать! – отвечал поляк, погладив с важностью свои усы. – Мы с ним приятели:
побратались на ратном поле, вместе били москалей...

– И, верно, под Троицким монастырем? – прервал запорожец.

Поляк поглядел пристально на Киришу и, поправя свою шапку, продолжал важным голо-
сом:

– Да, да! под Троицким монастырем, из которого москали не смели днем и носу пока-
зывать.

– Прошу не погневаться, – возразил Кириша, – я сам служил в войске гетмана Сапеги,
который стоял под Троицею, и, помнится, русские колотили нас порядком; бывало, как слу-
чится: то днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру,
на монастырском капустном огороде?.. Что это ваша милость изволит вертеться? Иль неловко
сидеть?

– Ничего, ничего... – отвечал поляк, стараясь скрыть свое смущение.

– Как теперь гляжу, – продолжал Кириша, – на этом огороде лихая была схватка, и пан
Лисовский один за десятерых работал.

– Да, да, – прервал поляк, – он дрался как черт! Я смело это могу говорить потому, что
не отставал от него ни на минуту.

⁹ Подожди, москаль, подожди (пол.).

¹⁰ Ну их к дьяволу! (пол.)

– Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки, словно заяц, притаился между гряд, и как пан Лисовский отпотчевал этого труса нагайкою?

Оловянные глаза поляка завертелись во все стороны, а багровый нос засверкал, как уголь.

– Как нагайкой? – вскричал он. – Кого нагайкой?.. Это вздор!.. Этого никогда не было!

– Помилуй, как не было! – продолжал Кирша. – Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка служил в регименте Лисовского товарищем и, помнится, прозывался... да, точно так... паном Копычинским.

– Неправда, не верьте ему! – закричал поляк, обращаясь к казакам. – Это клевета!.. Копычинского не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою: он никого не боится!

– Да что ж за нелегкая угораздила его завалиться между гряд в то время, как другие дрались?

– Что? как что?.. Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд?

– Ага! так это ты, ясновельможный? Прошу покорно, чего злые люди не выдумают! Ведь точно говорят, что Лисовский тебя поколотил и что если б на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил.

– Какой вздор, какой вздор! – перервал поляк, стараясь казаться равнодушным. – Да что с тобою говорить! Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать.

– Ахти, кормилец! – отвечал хозяин. – Да у меня ничего, кроме хлеба, не осталось.

– Как ничего?

– Видит бог, ничего!.. Была корчага каши, толочно и горшок щей, да всё проезжие поели.

– Быть не может, чтоб у тебя ничего не осталось. Гей, Нехорошко! – продолжал он взглянув на одного из казаков, – пошарь-ка в печи: не найдешь ли чего-нибудь.

Казак отодвинул заслонку и вытащил жареного гуся.

– Цо то есть? закричал поляк. – Ах ты лайдак! Как же ты говорил, что у тебя нет съестного?

– Да это чужое, родимый, – сказала хозяйка. – Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на печи.

– А кто он? Поляк?

– Нет, кормилец, кажись, русский.

– Москаль?.. Так давай сюда!

Алексей хотел было вступить за право собственности своего господина, но один из казаков дал ему такого толчка, что он едва устоял на ногах.

– Разбуди своего барина, – шепнул Кирша, – он лучше нашего управится с этим буяном.

Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи, спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку приказание Алексею, который в ту же минуту вышел из избы, подошел к столу.

– Доброго здоровья! – сказал он, поклонись вежливо пану.

Поляк, не переставая есть, кивнул головою и показал молча на скамью; Юрий сел на другом конце стола и, помолчав несколько времени, спросил: по вкусу ли ему жареный гусь?

– Как проголодаешься, так все будет вкусно, – отвечал поляк. – А что, этот гусь твой?

– Мой, пан.

– Нечего сказать, вы, москали, догадливей нас: всегда с запасом едите. Правда, нам это и не нужно; для нас, поляков, нет ничего заветного.

– Конечно, пан, конечно. Да что ж ты перестал? Кушай на здоровье!

– Не хочу: я сыт.

– Не совестись, покушай!

– Нет, ешь сам, если хочешь.

– Спасибо! Я не привык кормиться ничьими обедами да не люблю, чтоб и другие не доедали. Кушай, пан!

– Я уж тебе сказал, что не хочу.

– Не прогневайся: ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного, то есть: у них в обычае брать чужое, не спросив хозяина... быть может; а мы, русские, – хлебосолы, любим потчевать: у всякого свой обычай. Кушай, пан!

– Да что ж ты пристал в самом деле...

– И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся.

– Как всего?

– Да! всего, – повторил Юрий, вынимая пистолет. – Прошу покорно: принялся есть, так ешь!

– Цо то есть? – завизжал поляк. – Гей, хлопцы!

Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад, закричал казакам:

– Стойте, ребята! ни с места!

Эти слова были произнесены таким повелительным голосом, что казаки, которые хотели броситься на Юрия, остановились.

– Слушайте, товарищи! – продолжал Юрий. – Если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову. А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон, я угощаю одного тебя. Ну, что ж ты молчишь?.. Слушай, поляк! Я никогда не божился понапрасну; а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ль мне дожидаться? – прибавил он, направляя дуло пистолета прямо в лоб поляку.

– Иезус, Мария! – закричал поляк, стараясь спрятать под стол свою обритую голову. – Ступайте вон!.. ступайте вон!..

– Эй, ребята, убирайтесь! – сказал Кирша. – А не то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб: он шутить не любит.

– Ступайте вон, злодеи! ступайте вон! – продолжал кричать поляк, закрывая руками глаза, чтоб не видеть конца пистолета, который в эту минуту казался ему длиннее крепостной пицали.

Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым проезжим, который, посмотрев с удивлением на это странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хозяина.

– Теперь, Кирша, – сказал Юрий, – между тем как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтоб эти молодцы не воротились. Ну, пан, прошу покорно! Да поторапливайся: мне некогда дожидаться.

Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий, не переменяя положения, продолжал его потчевать. Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился. Несколько раз принимался он просить помилования; но Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета, взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно читал свой смертный приговор.

– Позволь хоть отдохнуть... – пропищал он, наконец, задыхаясь.

– И, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай!..

– Смелей, пан Копычинский, смелей! – сказал Кирша. – Ты видишь, немного осталось. Что робеть, то хуже... Ну, вот и дело с концом! – примолвил он, когда поляк проглотил последний кусок.

– И, кстати ли! – прервал Юрий. – Угощать так угощать! Там в печи должен быть пирог. Кирша, подай-ка его сюда.

– Взмилуйся! – завопил поляк отчаянным голосом. – Не могу, як пана бога кохам, не могу.

– Что, пан, будешь ли вперед непрощеный кушать за чужим столом? – сказал незнакомый проезжий. – Спасибо тебе, – продолжал он, обращаясь к Юрию, – спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него; брось этого негодяя! У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец! Авось ли бог приведет нам еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что присяга, вынужденная обманом и силою, ничтожна пред господом и что умереть за веру православную и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой, – примолвил он, бросив на стол несколько медных денег.

– Не надо, кормилец! – сказал хозяин с низким поклоном, – мы и так довольны.

Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина; но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо посто-ялого двора.

Меж тем поляк успел выбраться из-за стола и пробирался к дверям. Юрий остановил его.

– Не уходи, пан, – сказал он, – я сейчас еду, и ты можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько хочешь. Прощай, Кирша!

– Нет, боярин, прошу не прогневаться, – сказал запорожец, – я по милости твоей гляжу на свет божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь.

– По мне, пожалуй! Но пеший конному не товарищ.

– Да у меня есть на что купить лошадь.

– А я продам, – сказал хозяин. – Знатный конь! Немного храмлет, а шагист, и хоть ему за десять, а такой строгий, что только держись! Ну, веришь ли богу! если б он не окривел, так я бы с ним ни за что в свете не расстался.

– Добро, добро! – прервал Кирша. – Лишь бы только он дотащил меня до первого базара.

– Мы поедем шагом, – сказал Юрий, – так ты успеешь нас догнать. Прощай, пан, – продолжал он, обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться, сидел смиренхонько на лавке. – Вперед знай, что не все москали сносят спокойно обиды и что есть много русских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном гусе. До зобаченья, ясновельможный пан!

V

Утренняя заря румянила снежную равнину; вдали, сквозь редящий мрак, забелелись верхи холмов, и звезды, одна после другой, потухали на чистом небосклоне. Дорога, по которой ехал Юрий в сопровождении верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против них дремучий бор, как черная бесконечная полоса, обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты две, они очутились при въезде в темный бор; дорога шла опушкою леса; среди частого кустарника, подобного огромным седым привидениям, угрюмо возвышались вековые сосны и ветвистые ели; на их исполинских вершинах, покрытых инеем, играли первые лучи восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю дорогу, далеко ложились в чистом поле.

Алексей несколько раз начинал говорить с своим господином; но Юрий не отвечал ни слова. Погруженный в глубокую думу, он ехал медленно, спустя поводья своей лошади. Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его; тысячи различных мыслей и противоположных желаний волновали его грудь. «Русские – рабы иноплеменных!» Ах! эти слова, как похоронная песнь, как смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и отечеству. «Нет, – сказал он, наконец, как будто б отвечая на слова незнакомца, – нет, господь не допустит нас быть рабами иноверцев! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера православная – его верою. Так! он будет отцом нашим; он соединит все помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь?»

– Кой черт! – вскричал Алексей, наехав на колоду, через которую лошадь его с трудом перескочила. – Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось сегодня?.. Выходит – не выходит.

– Мы едем в тени, – отвечал Юрий. – Вот там, кажется, поворот, и нам будет ехать светлее.

– И теплее, боярин; а здесь так ветром насквозь и прохватывает. Ну, Юрий Дмитрич, – продолжал Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разговаривать, – лихо же ты отделал этого похвальбишку поляка! Вот что называется – угостить по-русски! Чай, ему недели две есть не захочется. Однако ж, боярин, как мы выезжали из деревни, так в уши мне наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся деревушка не набита конными поляками.

– Ты слышал конский топот?

– Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего доброго!.. Кострома недалеко отсюда, а там стоят поляки: не диво им завернуть и в здешнюю сторону.

– Да, это быть может.

– Ну, если этот трус Копычинский им нажалуется, и они пустятся за нами в погоню? а за проводником у них дело не станет: Кирша недаром остался на постоялом дворе.

– И, Алексей, побойся бога! Неужели ты думаешь, что тот, кто по милости нашей глядит на свет божий, не посовестится...

– Эх, боярин! захотел ты совести в этих чертях запорожцах; они навряд и бога-то знают, окаянные! Станет запорожский казак помнить добро! Да он, прости господи, отца родного придаст за чарку горелки. Ну вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба – зги божьей не видно! То-то приволье, боярин: есть где поохотиться!.. Чай, здесь медведей и всякого зверя тьма-тьмушая!

Наши путешественники въехали по узкой просеке в середину леса. С каждым шагом темный бор становился непроходимее, и несмотря на то, что сильный ветер колебал вершины

деревьев, внизу царствовала совершенная тишина. От времени до времени, прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего солнца; но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы. Все было мертво вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от конского топота, перелетал с одной сосны на другую, осыпая пушистым ином Юрия и Алексея, который при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался на все стороны. Не замечая охоты в своем господине продолжать разговор, он принялся насвистывать песню. Несколько минут ехали они молча, как вдруг Алексей, осадив свою лошадь, сказал робким голосом:

– Слышишь, боярин?

– Что такое? – спросил Юрий, как будто пробудясь от сна.

– Чу! слышишь? Кто-то скачет за нами!

– Да, и очень быстро... Это, верно, Кирша.

– Нет, Юрий Дмитрич! я видел клячу, которую продавал ему хозяин постоянного двора: на ней далеко не ускачешь. Глядь-ка сюда, боярин, видишь – чернеется вдаль? Какой это Кирша! Словно птица летит.

Всадник, который действительно с необычайной быстротою приближался к нашим путешественникам, выскакал на небольшую поляну, и солнечный луч отразился на лице его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца, который, припав к седельной луке, вихрем мчался по дороге.

– Ну, не говорил ли я тебе, что это Кирша? – сказал он Алексею.

– Вижу, боярин, вижу! Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь... Эж его черти несут! Тише ты, тише, дьявол! совсем было смял боярина.

– Не теряйте времени, – сказал торопливо Кирша, осадя с трудом свою лошадь, – за вами погоня.

– Ну, так... чуяло мое сердце! – вскричал Алексей. – В деревне поляки?..

– Да! три хоругви¹¹, и человек двести лагерной челяди.

– С нами крестная сила! Что ж мы мешкаем, боярин? По лошадям, да унеси господь!

– Чего ж ты боишься? – сказал Юрий. – Когда поляки узнают, кто я...

– Оно так, Юрий Дмитрич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих: у поляков расправа короткая.

– А особливо, – прибавил Кирша, – когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег.

– Да еще вдобавок, – прервал Алексей, – чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем.

– За труса Копычинского, – продолжал Кирша, – они бы не вступились, да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Я вместе с другими втерся на постоянный двор и все это слышал своими ушами. Пока regimentарь¹² отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминуемой; вышел на двор, глядь... у крыльца один шеренговый держит за повод этого коня; посмотрел – парень щедушный; я подошел поближе, изноровился да хватить его по лбу кулаком! Не пикнул, сердечный! А я прыг на коня, в задние ворота, проселком, выскакал на большую дорогу, да и был таков! Однако ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! да неужели они все пустились за вами в погоню?

В самом деле, казалось, весь лес оживился: глухой шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавшей плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили стаи птиц, которые с громким криком пронесли над головами наших путешественников.

¹¹ Конные роты. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

¹² Полковой командир. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

– Живей, боярин, живей! – закричал Кирша, понуждая свою лошадь. – Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ошетинился Зарез: недаром он бросается во все стороны. Назад, Зарез, назад! Ну, так и есть!.. берегись, боярин!

Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия повалилась мертвая на землю. Шагах в восьмидесяти перед толпою конных поляков летел удалый наездник.

– Стойте! – закричал он, прицеливаясь вторым пистолетом в Киршу.

Быстрее молнии соскочил запорожец на землю.

– Садись на моего коня, боярин, – сказал он, – а я перевожусь с этим налетом!

Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и почти в ту же самую минуту испуганная лошадь без седока пронеслась мимо наших путешественников.

– Ну, теперь с богом! – сказал Кирша.

– А ты? – спросил Юрий.

– Пешему везде дорога.

– Но если тебя убьют?..

– Так что ж? долг платежом красен. С богом!

– Ради Христа, боярин, – закричал Алексей, – поспешим: вот они!

Толпа конных поляков с громким криком быстро приближалась к нашим путешественникам.

– Да что тут растабарывать! Не погневайся, боярин, – сказал Кирша, ударив нагайкою лошадь, на которой сидел Юрий. Лихой конь взвился на дыбы и, как из лука стрела, помчался вдоль дороги.

– Ловите пешего! подстрелите его! – заревели из толпы дикие голоса, и пули посыпались градом; но Кирша был уже далеко; он пустился бегом по узенькой тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глубину леса. Пробежав шагов двести, Кирша остановился; он прилег наземь и стал прислушивать: чуть-чуть отзывался вдали конский топот, отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников; вскоре все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ног его. Уверясь, наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился; потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг Зарез поднял уши, заворчал, опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину.

– Что ты, что ты, Зарезушка? – сказал Кирша, погладив его ласково рукою. – Что с тобою сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя? Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься?.. Неужели... да нет! Я и пеший насилу сквозь эту дичь продираюсь... Однако ж и мне нажегся... уж не медведь ли?.. Нет, черт возьми!.. Молчать. Зарез!

Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник, и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по лесу. Кирше нетрудно было догадаться, что несколько спешенных всадников послано за ним в погоню и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тропинке, которая час от часу становилась незаметнее и, наконец, при выходе на большую поляну совсем исчезла. Кирша остановился в недоумении; он чувствовал всю опасность выйти на открытое место; но на другой стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок, пробираясь сквозь густых ветвей, обещал ему убежище, а может быть, и защиту. Меж тем шум приближался, рассуждать было некогда: он решился и вышел из лесу.

– Вот он! держите его! схватите живого! – загремели позади грубые голоса.

Кирша оглянулся: человек десять вооруженных поляков выбежали на поляну; нельзя было и помышлять об обороне; двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его; еще несколько шагов – и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, он споткнулся и упал.

– Ага, лайдак! попался! – закричал один из поляков, вырывая у него из рук винтовку.

– Скрути хорошенько этого поганого москаля! – заревел другой; но верный Зарез, как тигр, кинулся на грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь. Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что происходило на поле; но слышал ясно крик и ругательства поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего Зареза. Сердце его обливалось кровью; несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Между тем, сколько мог он расслушать, поляки, собравшись в кружок, рассуждали меж собою: должны ли воротиться или продолжать его преследовать? К счастью Кирши, прошло несколько минут в спорах, и, когда они решились, по-видимому, продолжать свои поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился к тому месту, над которым носилось прозрачное дымное облако.

VI

Кирша, с трудом пробираясь сквозь чашу, дошел, наконец до высокого плетня, обрытого глубокою канавою. Не теряя времени, он перелез чрез плетень, за которым дюжины две ульев, без всякого порядка расставленных, окружали небольшую избушку, до половины занесенную снегом. Дым, выходя из слухового окна, крутился над ее соломенной кровлею; а у самых дверей огромная цепная собака, пригретая солнышком, лежала подле своей конуры. Почуя незнакомого, она громко залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь выйдет из избы, но никто не появлялся; он, вынув из своей дорожной сумы кусок хлеба, бросил его собаке, и умилованный цербер, ворча, спрятался в свою конуру. «Бедный Зарез! – сказал Кирша, входя в избу. – Ты так же, бывало, сторожил мой дом, да не так легко было тебя задобрить!» С первого взгляда запорожец уверился, что в избе никого не было; но затопленная печь, покрытый ширинкою стол и початый каравай хлеба, подле которого стоял большой кувшин с брагою, – все доказывало, что хозяин отлучился на короткое время. От печи, вдоль избы, шла перегородка, за которою стояли пустые улья, кадки и несколько бочонков. Кирша не успел еще порядком осмотреться, как вдруг послышались в близком расстоянии голоса. Не зная, кто подходит, друг или недруг, он спрятался за перегородку и прилегал между двух ульев, за которыми нельзя было его никак приметить. Кто-то вошел в избу. Запорожец притаил дыхание и стал внимательно прислушиваться.

– Входи смелей, Григорьевна, – сказал грубый голос. – Не бойся: кто приходит ко мне с хлебом да солью, тому порчи бояться нечего.

– Вестимо, батюшка Архип Кудимович, – отвечал женский голос, перерываемый частым кашлем, – вестимо! ты человек добрый; да дело-то мое непривычное.

– Садись добро, тетка. Да что это у тебя за пазухой?

– Так, кой-что, родимый! Просим покорно принять. Вот в этом кулечке пирог, а это штофик вишневки с боярского погребца.

– Спасибо, Григорьевна, спасибо!

– Кушай на здоровье, кормилец! Это шлет тебе Аграфена Власьевна.

– Нянюшка нашей молодой барышни?

– Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить с тобой словечка, так просила меня... О, ох, родимый! сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимофеевна. Бог весть, что с ней подделалось: плачет да горюет – совсем зачахла. Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка – рудомета, что ль?... не знаю; да и тот толку не добьется. И нашептывал, и заморского зелья давал, и мало ли чего другого – все проку нет. Уж не с дурного ли глазу ей такая немочь приключилась? Как ты думаешь, Архип Кудимович?

– Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хворает?

– Власьевна сказывала, что о зимнем Николе, когда боярин ездил с ней в Москву, она была здоровехонька; приехала назад в отчину – стала призадумываться; а как батюшка просватал ее за какого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная.

– Вот что! А не в приметку ли было, что в Москве кто ни есть пристально на ее барышню поглядывал?

– Как же, родимый! Она с Настасьей Тимофеевной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил.

– Вот что! А не знает ли она, кто этот детина?

– Нет, батюшка; однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем; а по платью и обычью, кажись, он не из простых.

Эти последние слова удвоили любопытство Кирши и принудили его остаться в чулане, из которого он хотел было уже выйти.

– Ну, как ты мекаешь, кормилец! – продолжала Григорьевна, – болезнь, что ли, у нее какая, или она сохнет...

– С глазу, Григорьевна, с глазу!

– И нянюшка тоже тростит, чему и быть другому! Да ты, батюшка, сам на это дока и если захочешь пособить...

– Нет, Григорьевна, плохо дело: кто испортил, тому ее и пользоваться надо. Однако я все-таки поговорю сам с Власьевной.

– Поговори, родимый, поговори: ум хорошо, а два лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебе челом! Не оставь меня, горемычную! Ведь и у меня есть до тебя просьба.

– Что такое, Григорьевна?

– Вымолвить не смею.

– Говори, не бойсь!

– Я пришла к тебе уму-разуму поучиться, кормилец.

– Как так?

– Ты знаешь: дело мое вдовье, ни за мной, ни передо мною – вовсе голая сирота... подчас перекусить нечего.

– Знаю, знаю.

– Тебя умудрил господь, Архип Кудимович; ты всю подноготную знаешь: лошадь ли сбежит, корова ли зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли парень жениться, начнет ли молодница выкликать – всё к тебе да к тебе с поклоном. Да и сам боярин, нет-нет, а скажет тебе ласковое слово; где б ни пировали, Кудимович тут как тут: как, дескать, не позвать такого знахаря – беду наживешь!..

– Конечно так, Григорьевна. Да о чем же просить хочешь?

– А вот о чем, кормилец: научи ты меня, глупую, твоему досужеству, так и меня чаркою никто не обнесет, и меня не хуже твоего чествовать станут.

– Эк с чем подъехала, старая хреновка! Смотри, пожалуй! уж не хочешь ли со мной потягаться!

– И, что ты, кормилец! Выше лба уши не растут. Что велишь, то и буду делать.

– Ой ли?

– Видит господь, Архип Кудимович! что б со мной ни было, а из твоей воли не выступлю.

– Ну, ну, быть так! рожа-та у тебя бредет: тебя и так все величают старою ведьмой... Да точно ли ты не выступишь из моей воли?

– В кабалу к тебе пойду, родимый!

– То-то же, смотри! Слушай, Григорьевна, уж так и быть, я бы подался, дело твое сиротское... да у бабы волос длинен, а ум короток. Ну если ты сболтнешь?..

– Кто! я, батюшка?.. Да иссуши меня господь тоньше аржаной соломинки!.. чтоб мне свету божьего не видать!.. издохнуть без исповеди!..

– Добро, добро, не божись!.. Дай подумать... Ну, слушай же, Григорьевна, – продолжал мужской голос после минутного молчания, – сегодня у нас на селе свадьба: дочь нашего волостного дьяка идет за приказчика сына. Вот как они поедут к венцу, ты заберись в женихову избу на полати, прижмись к уголку, потупься и нашептывай про себя...

– А что же, кормилец, шептать мне велишь?

– Да что на ум взбредет; и о чем бы тебя ни стали спрашивать – смотри, ни словечка! Бормочи себе под нос да покачивайся из стороны в сторону.

– Слушаю, батюшка!

– Вот как поезд воротится из церкви, я взойду в избу, и лишь только переступлю через порог, ты в тот же миг – уж не пожалей себя для первого раза – швырком с полатей, так и грянься о пол!

– О пол? Ах, мой родимый! да я этак и косточек не сберу!

– Вот еще боярыня какая! а тебе бы, чай, хотелось, лежа на боку, сделаться колдуньей? Ну, если успеешь, подкинь соломки, да смотри, чтоб никому не в примету.

– Слушаю, батюшка, слушаю!

– Что б я ни говорил, кричи только «виновата!», а там уж не твое дело. Третьего дня пропали боярские красна; если тебя будут о них спрашивать, возьми ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня, и как я мотну головою, то отвечай, что они на гумне Федьки Хомяка запряганы в овине.

– Ах, батюшки-светы! неужто в самом деле Федька Хомяк?..

– Опомнясь он грозился поколотить меня, так пусть теперь разведается с приказчиком.

– Постой-ка! да ты никак шел оттуда, как я с тобой повстречалась?

– Молчи, старая карга! Ни гугу об этом! Слышишь ли? видом не видала, слухом не слышала!

– Слышу, батюшка, слышу!

– Завтра приходи опять сюда: мне кой-что надо с тобой перемолвить, а теперь убирайся проворней. Да смотри: обойди сторонкою, чтоб никто не подметил, что ты была у меня – понимаешь?

– Разумею, кормилец, разумею.

– Ну, то-то же, ступай!

– Прощенья просим, батюшка Архип Кудимович!

– Постой-ка, никак собака лает?.. так и есть! Кого это нелегкая сюда несет?.. Слушай, Григорьевна, если тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Спрячься скорей в этот чулан, закинь крючок и притаись как мертвая.

Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнув дверь, прижалась к улью, за которым лежал Кирша.

Через минуту несколько человек, гремя саблями, с шумом вошли в избу.

– Гей, москаль! – закричал один голос, – нет ли у тебя кого-нибудь здесь?

– Никого, батюшка.

– Ты врешь! у тебя спрятан мошенник, которого мы ищем.

– Видит бог, нет!

– Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу из тебя душу. Гей, Будила! и ты, Сума, осмотрите чердак, а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой перегородкой?

– Пустые улья да кой-какая старая посуда.

– Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: там кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, в плети его, так он заговорит.

– Помилуйте, господа честные! Всю правду скажу: там сидит женщина.

– Женщина! Да на кой же черт ты ее туда запрягал?

– Не погневайся, кормилец; вы люди ратные: дальше от вас – дальше от греха.

– Давай ее сюда, – закричали грубые голоса.

– Да, кстати: вот, кажется, штоф наливки, – сказал тот, который допрашивал хозяина. – Мы его разопьем вместе с этой затворницей. Выходи, красавица, а не то двери вон!.. Эх она приперлась, проклятая!.. Ну-ка, товарищи, разом!

– Стойте, ребята, – сказал кто-то хриповатым голосом. – Штурмовать мое дело; только уговор лучше денег: кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!

От сильного натиска могучего плеча пробой вылетел и дверь растворилась настезь.

– Ай да молодец, Нагиба! – закричали поляки. – Ну, выводите скорее пленных!

– Полно уж упираться, лебедка, выходи! – сказал широкоплечий Нагиба, вытащив на середину избы Григорьевну. – Кой черт! Да это старая колдунья! – закричал он, выпустив ее из рук.

– Твоим бы ртом да мед пить, родимый! – отвечала Григорьевна с низким поклоном.

– Поздравляем, пан Нагиба! – закричали с громким хохотом поляки. – Подцепил красотку!

– Ах ты беззубая! Ну с твоей ли харей прятаться от молодцов? – сказал Нагиба, ударив кулаком Григорьевну. – Вон отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая борода, ступай с нами да выпроводи нас на большую дорогу.

– Постой, брат, – сказал другой голос, – все ли мы осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегородкой?

– Видит бог – нет, кормилец! – отвечал хозяин, посматривая с беспокойством на темный угол чулана, в котором стояли две кадки с медом. – Кроме пустых ульев и старой посуды, там ничего нет.

– И впрямь, – сказал Нагиба, – кой черт велит ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом он может от нас спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э! да слушай ты, хозяин, чай, у тебя денежки водятся?

– Как бог свят, ни одного пула¹³ нет, родимый.

– Ну, ну, полно прижиматься! отдавай волею, а не то...

– Помилосердуй, кормилец! вот те Христос, вчера последние деньжонки отнес боярину моему, Тимофею Федоровичу Шалонскому.

– Слушай, москаль, подавай сейчас...

– Что ты, Нагиба, в уме ли! – сказал один из поляков. – Иль забыл, что наказывал пан региментарь? Если этот старик служит боярину Кручине-Шалонскому, так мы и волосом не должны от него поживиться.

– Пан региментарь! пан региментарь!.. Э, нех его вшищи дьябли!

– Тс, тише! что ты орешь, дуралей! – перервал тот же поляк. – Иль ты думаешь, что от твоего лба пуля отскочит? Смотри, ясновельможный шутить не любит. Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай передом да выведи нас на большую дорогу.

Через несколько минут изба опустела, и Кирша мог вздохнуть свободно. Он вышел потихоньку из чулана; шелест шагов едва был слышен вдали; вскоре все утихло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на солнышке и, вертя приветливо хвостом, пропустила мимо себя Киршу, как старого знакомого. Запорожец не сомневался, что тропинка, идущая прямо от пчельника, выведет его в отчину боярина Шалонского, где, по словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему удалось спастись от преследования поляков. Он прошен версты четыре, не встретив никого; но лес редел приметным образом, и вдали целые облака дыма доказывали близость обширного селения. Наконец, тропинка привела его к огородам. Пробираясь вдоль плетня, он подошел к небольшой часовне, против которой, сквозь растворенные ворота гумна, виднелся ряд низких, покрытых соломою хижин. Желая скорей добраться до жилья, он решился пройти задом. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится... она сбывалась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идет; первое движение запорожца было спрятаться в овин. Прежде чем Кирша мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не преследует, он очутился на дне овинной ямы и, может быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок, если б не упал на что-то мягкое. Несмотря на темноту, он тот же час узнал ощупью, что под ним лежат несколько кусков тонкой холстины. Тут вспомнил он чудной разговор, который слышал на пчельнике. «Добро ты, поддельный колдун! – подумал Кирша. – Посмотрим, шепнет ли тебе черт на ухо, что боярские красна перешли из овина Федьки Хомяка в другое место?» Эта мысль его развеселила. Он вытащил из ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле часовни, пошел по проложенной между двух огородов узенькой тропинке.

¹³ Самая мелкая медная монета. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась от окружающих ее изб одним крестом и низкою, похожею на голубятню колокольнею. Вся паперть и погост были усыпаны народом; священник в полном облачении стоял у церковных дверей; взоры его, так же как и всех присутствующих, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Оружие и воинственный вид запорожца обратили на себя общее внимание, и, когда он подошел к церковному погосту, толпа с почтением расступилась, и все передние крестьяне, поглядывая с робостию на Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кроме одного плечистого детины, который, взглянув довольно равнодушно на запорожца, оборотился снова в ту сторону, откуда приближалось несколько саней и человек двадцать конных и пеших. Открытый и смелый вид крестьянина понравился Кирше; он подошел к нему и спросил:

– Для чего православные толпятся вокруг церкви?

– Да так-ста, – отвечал крестьянин. – Народ глуп: вишь, везут к венцу дочь волостного дьяка, так и все пришли позевать на молодых. Словно диво какое!

– Она выходит за сына вашего приказчика?

– А почему ты знаешь?

– Слухом земля полнится, товарищ.

– Да ты, верно, здешний?

– Нет, я сейчас пришел в вашу деревню и никого здесь не знаю.

– Ой ли?

– Право, так! А скажи-ка мне: вон там, налево, чьи хоромы?

– Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалонского.

– Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня?

– Бог весть! Мы к боярскому двору близко и не подходим.

– Что так? разве он человек лихой?

– Не роди мать на свет! Нам и от холопей-то его житья нет.

– Что ты, Федька Хомяк, горланишь! – перервал другой крестьянин с седой, осанистой бородою. – Не слушай его, добрый человек: наш боярин – дай бог ему долгие лета! – господин милостивый, и мы живем за ним припеваючи.

– Да, брат, запоешь, как последнюю овцу потащут на барский двор.

– Замолчишь ли ты, глупая башка! – продолжал седой старик. – Эй, брат, не сносить тебе головы! Не потачь, господин честной, не верь ему: он это так, сдуру говорит.

– Небойсь, дедушка, – сказал Кирша, улыбаясь, – я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть ли у него детки?

– Одна дочка, родимый, Анастасья Тимофеевна – ангел небесный!

– Да, неча сказать, – прибавил первый крестьянин, – вовсе не в батюшку: такая добрая, приветливая; а собой-то – красное солнышко! Ну, всем бы взяла, если б была подороднее, да здоровья-то бог не дает.

– Глядь-ка, Хомяк! – закричал старик, – вон едет дьяк с невестою, да еще в боярских санях. Шапки долой, ребята!

Поезд приближался к церкви. Впереди в светло-голубых кафтанах с белыми ширинками через плечо ехали верхами двое дружек; позади их в небольших санках вез икону малолетний брат невесты, которая вместе с отцом своим ехала в выкрашенных малиновою краскою санях, обитых внутри кармазиною объярью; под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов. Ряд саней со свахами и родственниками жениха и невесты оканчивался толпою пеших и всадников, посреди которых красовался жених на белом коне, которого сбруя обвешана была разноцветными кистями, а поводы заменялись медными цепями – роскошь, перенятая простолюдинами от знатных бояр, у которых эти цепи бывали не только из серебра, но даже нередко из чистого золота.

Кирша вслед за женихом кое-как продрался в церковь, которая до того была набита народом, что едва оставалось довольно места для совершения брачного обряда. Все шло чин чином, и крестьяне, несмотря на тесноту, наблюдали почтительное молчание; но в ту самую минуту, как молодой, по тогдашнему обычаю, бросил наземь и начал топтать ногами стеклянку с вином, из которой во время венчания пил попеременно со своей невестой, народ зашумел, и глухой шепот раздался на церковной паперти. «Раздвиньтесь! посторонитесь, дайте пройти Архипу Кудимовичу!» – повторяли многие голоса. Толпа отхлынула от дверей, и на пороге показался высокого роста крестьянин, с рыжей окладистой бородой. Наружность его не обещала ничего важного; но страх, с которым смотрели на него все окружающие, и имя, произносимое вполголоса почти всеми, тотчас надоумили Киршу, что он видит в сей почтенной особе хозяина пчельника, где жизнь его висела на волоске. Кудимыч остановился в дверях, беглым взглядом окинул внутренность церкви и, заметя в толпе Федьку Хомяка, улыбнулся с таким злобным удовольствием, что Кирша дал себе честное слово – спасти от напраслины невинного крестьянина и вывести на свежую воду подложного колдуна. Меж тем обряд венчания кончился, и молодые отправились тем же порядком в дом приказчика. Кудимыч, по приглашению жениха, присоединился к поезду, а Кирша вмешался в толпу пеших гостей и отправился также пировать у молодых.

На половине дороги крестьянская девушка, с испуганным лицом, подбежала к саням приказчика и сказала ему что-то потихоньку; он побледнел как смерть, подозвал к себе Кудимыча, и вся процессия остановилась. Они довольно долго говорили меж собой шепотом; наконец, Кудимыч сказал громким голосом:

– Пусти, я пойду передом; не бойся ничего: я знаю, что делать!

Весь порядок шествия нарушился: одни вылезли из саней, другие окружили колдуна, и все крестьяне, вместо того, чтоб разойтись по домам, пустились вслед за молодыми; а колдун важно выступил вперед и, ободряя приказчика, повел за собою всю толпу к дому новобрачных.

VII

Мы оставили Юрия и слугу его, Алексея, в виду целой толпы поляков, которые считали их верной добычей; но они скоро увидели, что ошиблись в расчете. В несколько минут наши путешественники потеряли их из виду. Беспрестанные изгибы и повороты дороги, которая часто суживалась до того, что двум конным нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться от преследования густой толпы всадников, которые, стесняясь в узких местах, мешали друг другу и должны были поневоле останавливаться. Проскакав несколько верст, наши путешественники стали придерживать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина, их окружающая, и едва слышный, отдаляющийся конский топот уверили их, что поляки воротились и им нечего опасаться.

– Ну, боярин, – сказал Алексей, – помиловал нас господь!

– А бедный Кирша?

– И, Юрий Дмитрич! он детина проворный... Да и как поймать его в таком дремучем лесу?

– Но если он ранен?

– Бог милостив! Он, верно, уцелел!

– Я дорого бы дал, чтоб увериться в этом. Ну, Алексей, не совестно ли тебе? ты подозревал Киршу в измене...

– Каюсь, боярин, грешил на него; да и теперь думаю...

– Что такое?

– Что он не запорожец.

– Везде есть добрые люди, Алексей.

– Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми.

– Конечно; я знаю многих, на которых хотел бы походить.

– И так же, как они, гнаться за проезжими, чтоб их ограбить?

– Шайка русских разбойников или толпа польской лагерной челяди ничего не доказывают. Нет, Алексей: я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие поколения древних владык всего севера сольются в один великий и непобедимый народ!

– Не прогневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю. Но, воля твоя, что будет вперед, то бог весть; а теперь куда бы хорошо, если б эти незваные гости убралась восвояси. Покойный твой батюшка – дай бог ему царство небесное! – не так изволил думать. Ты после смерти боярыни нашей, а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу; а он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя, единокровного своего сына, в ранней могиле, чем слугою короля польского или мужем неверной полячки!

– Мужем!.. – повторил вполголоса Юрий, и глубокая печаль изобразилась на лице его. – Нет, добрый Алексей! Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла мне по сердцу: так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться.

– И, боярин, боярин! Не одна звезда на небе светит, не одна красная девица на Святой Руси. Ты все еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую видал в Москве у Спаса на Бору?... Вольно ж тебе было не поведать, кто она такова; откладывал да откладывал, а она вдруг сгнула да пропала. И то сказать, неужели от этого зачахнуть с тоски такому молодцу, как ты, боярин? Кликни только клич, что хочешь жениться, так не оберешься невест, а может быть... почему знать? суженого конем не объедешь... и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу...

– Обвенчанную с другим!.. Нет, лучше век ее не видеть, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо, которым она поменялась не со мною!

– Что бог велит, то и будет. Но теперь, боярин, дело идет не о том: по какой дороге нам ехать? Вот их две: направо в лес, налево из лесу... Да кстати, вон едет мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя! По которой дороге выедем мы в отчину боярина Кручины-Шалонского?

При этом грозном имени крестьянин снял шапку, поклонился в пояс проезжим и молча показал налево. Через полчаса наши путешественники выехали из лесу, и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу небольшой речки, представился их взорам. Широкая поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостной палисад. Вокруг господского двора разбросаны были жилые избы дворовых людей, конюшня, псарня и огромный скотный двор. Все эти строения, с их пристройками, клетями и загородками, занимали столь большое пространство, что с первого взгляда их можно было почесть вторым селом, не менее первого. Переехав через мост, утверченный на толстых сваях, путешественники поднялись в гору и въехали на обширный боярский двор. Лицевая сторона главного здания занимала в длину более пятнадцати сажений, но высота дома нимало не соответствовала длине его. Небольшие четверугольные окна с красными рамами и разноцветными ставнями разделялись широкими простенками. С левой стороны дом оканчивался крыльцом с огромным навесом, поддерживаемым деревянными столбами, которым дана была форма нынешних точеных баяс, употребляемых иногда для украшения наружности домов. С правой стороны дом примыкал к двухэтажному терему, которого окна были почти вдвое более окон остальной части дома. По обеим сторонам забора выстроены были длинные застольни, припешная и погребка с высокой голубятнею, а посреди двора стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим читателям, что гордый боярин Кручина славился своей роскошью и что его давно уже упрекали в подражании иноземцам и в явном презрении к простым обычаям предков; а посему описание его дома не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр. Их дома не удивляли огромностью и великолепием: большая комната, называемая светлицею, отделялась от черной избы просторными и теплыми сенями, в которых живали горничные, получившие от сего название сенных девушек. Иногда узкая и крутая лестница вела из сеней в терем; кругом дома строились погребка, конюшни, клетки и бани. Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр и дворян того времени, которые крепко держались старинной русской пословицы: не красна изба углами, а красна пирогами.

Проезжая двором, Юрий заметил большие приготовления: слуги бегали взад и вперед; в приспешной пылал яркий огонь; несколько поваров суеилось вокруг убитого быка; все доказывало, что боярин Кручина ожидает к себе гостей. Те из челядинцев, с которыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смотрели на него с удивлением: измятый и поношенный охабень, коим с ног до головы он был окутан, некрасивая одежда Алексея – одним словом, ничто не оправдывало дерзости незнакомого гостя, который, вопреки обычаю простолюдинов, не сошел с лошади у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина. Отдав своего коня Алексею, Юрий взошел по отлогой лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг стен, на широких скамьях, сидело человек двадцать холопей, одетых в цветные кафтаны; развешанные в порядке панцири, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственным украшением голых стен сего покоя. Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым голосом Юрия: кого ему надобно?

– Боярина Тимофея Федоровича, – отвечал Юрий.

– А от кого ты прислан?

Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату.

Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены – покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа; никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной, по тогдашнему времени, живописи. Почти все представляли поляков, а один – короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венеч Мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке: «Сигизмунд король польский и царь русский». Не помышляя о последствии первого необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились, и человек лет тридцати, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из знакомцев боярина¹⁴, он спросил: какую надобность имеет приезжий до хозяина?

– Я должен сам поговорить с Тимофеем Федоровичем, – отвечал Юрий.

– Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.

– Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского.

– От пана Гонсевского? А, это другое дело! Милости просим! Я тотчас доложу боярину.

Дозволь только спросить: при тебе, что ль, получили известие в Москве о славной победе короля польского?

– О какой победе?

– Так ты не знаешь? Смоленск взят.

– Возможно ли?

– Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом...

– И, верно, не был награжден как следует за такую услугу? – сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование.

– О нет! он теперь в большой милости у короля польского.

– Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника.

– Что ты! какой он изменник! Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя и все сгибли до единого. Туда им и дорога!.. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.

– Верные смоляне! – сказал Юрий, оставшись один. – Для чего я не мог погибнуть вместе с вами! Вы положили головы за вашу родину, а я... я клялся в верности тому, чей отец, как лютей враг, разоряет землю русскую!

Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика; несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая престранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался б, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили в застольную. Вслед за сим потешным зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскою позолоченной кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, необузданных страстей; редкая с просе-

¹⁴ Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные дворяне: они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу. (Примеч. М. Н. Загоскина.)

дью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия заплыть бешенством, – все это вместе составляло наружность вовсе не привлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану придавали ему вид богатого польского пана; но в то же время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклонись вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского.

– Давно ли ты из Москвы? – спросил боярин, разворачивая письмо.

– Осьмой день, Тимофей Федорович.

– Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому...

– Я служу одному царю русскому, Владиславу, – перервал хладнокровно Юрий.

– В самом деле! Да кто же ты таков, верный слуга царя Владислава? – спросил насмешливо Кручина.

– Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.

– Димитрия Милославского!.. закоснелого ненавистника поляков?.. И ты сын его?.. Но все равно!.. Садись, Юрий Дмитрич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.

– Я из дружбы к нему взялся отвезти к тебе эту грамоту.

– Сын боярина Милославского величает польского королевича царем русским... зовет Гонсевского своим другом... диковинка! Так поэтому и твой отец за ум хватился?

– Его уж нет давно на свете.

– Вот что!.. Не осуди, Юрий Дмитрич: я прочту, о чем ко мне пан Гонсевский в своем листу пишет.

Юрий заметил, что боярин, читая письмо, становился час от часу пасмурнее: досада и нетерпение изображались на лице его.

– Нет, – сказал он, дочитав письмо, – с ними добром не разделаешься! по мне бы с корнем вон! Я бы вспахал и засеял место, на котором стоит этот разбойничий городишко!.. Вот что в своем листу пишет ко мне Гонсевский, – продолжал он, обращаясь к Юрию, – до него дошел слух, что неугомонные нижегородцы набирают исподтишка войско, так он желает, чтоб я отправил тебя в Нижний поразведать, что там делается, и, если можно, преклонить главных зачинщиков к покорности, обещая им милость королевскую. Он, дескать, сын боярина московского, который славился своею ненавистью к полякам, так пример его может вразумить этих малоумных: когда-де сын Димитрия Милославского целовал крест королевичу польскому, так уж, видно, так и быть должно.

– Я с радостью готов исполнить поручение Гонсевского, – отвечал Юрий, – ибо уверен в душе моей, что избрание Владислава спасет от конечной гибели наше отечество.

– Да, да, – прервал боярин, – мирвольте этим бунтовщикам! уговаривайте их! Дождетесь того, что все низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их унять. Нет, господа москвичи! не словом ласковым усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевский прислал сюда пана Тишкевича с regimentом; но этим их не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем бревна на бревне, камня на камне!

– Не весело, боярин, правой рукой отсекай себе левую; не радостно русскому восставать противу русского. Мало ли и так пролито крови христианской! Не одна тысяча православных легла под Москву! И не противны ли господа богу молитвы тех, коих руки облиты кровию братьев?

Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия и с насмешливой улыбкою спросил его: на котором году желает он сделаться схимником? и ради чего вместо четок прицепил саблю к своему поясу?

– Что я умею владеть саблею, боярин, – сказал Юрий, – это знают враги России; а удостоюсь ли быть схимником, про то ведает один господь.

– Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского, – продолжал боярин, – что нижегородцы будут к тебе также милосердны и побоятся умертвить тебя, как предателя и слугу короля польского?

– И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского.

– Ого, молодчик!.. Да ты что-то крупно поговариваешь! – сказал Кручина, нахмурив свои густые брови.

– Да, боярин, – продолжал Юрий, – я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.

– Но Сигизмунд разве не отец его?

– Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские.

– Полегче, молодец, полегче! За всех не ручайся. Ты еще молодец, не тебе учить стариков; мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу, я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истому-Туренину. Он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу; а там что бог даст! От сына до отца недалеко...

– Нет, боярин, пока русские не переродились...

– Добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела... итак, не взыщи... прощай покамест! Не с ума ли сошел Гонсевский! – продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия, – прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве! Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел! Добро, молодец! ты поедешь в Нижний, и чтоб у тебя на уме ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудке, или...

Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: приехал ли из города его стрелянный Омляш?

– Сейчас слез с лошади, государь, – отвечал служитель.

– Скажи, чтоб он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был бы готов к отъезду. Ступай!.. Да позови ко мне Власьевну.

Через несколько минут вошла в покой старушка лет шестидесяти, в шелковом шушуне и малиновой обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина.

– Ну что, Власьевна, – спросил боярин, – порадуешь ли ты меня? Какова Настенька?

– Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ничего не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем – сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое дитячко, что ты, моя радость? Что с тобою делается?..» – «Больна, мамушка!» – вот и весь ответ; а что болит, бог весть!

Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского; она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла ли больная снадобья, которые оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву?

– Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! – отвечала старушка, покачав головою. – С этих-то снадобьев никак ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье Тимофеевне попритчилось недаром. Нет, отец мой, неспроста она хворать изволит.

– Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?

– Испорчена, батюшка, видит бог, испорчена!

– Я плохо этому верю; ну да если ничто не помогает, так делать нечего: поговори с Кудимычем.

– Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе у приказчика Фомы пирует с молодыми.

– Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы у меня чего хочет; но если ей сделается хуже, то, даром что он колдун, не отворжится... запорю батогами!.. Ну, ступай, – продолжал боярин, вставая. – Через час, а может быть, и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную.

Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов.

– Вот здесь, – сказал он, – отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется.

– Благодарю, – отвечал Юрий, – я не голоден, а желал бы отдохнуть.

– Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня прибыл сюда с своим regimentом. Доброго сна, Юрий Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней.

Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами – вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если б этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду, и, как будто бы с робостью, оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце; все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастье отечества – все, что наполняло восторгом его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение отечества во всей ужасной истине своей представились его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши, кровь волновалась в его жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства Русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом; что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к Грановитой палате; что на высоком царском тереме развевается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отворачивает свои взоры... и вот перед ним древний храм Спаса на Бору; церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу?.. Она! Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его: «Я долго, долго дождалась тебя, мой суженый! поспешим... Священник готов; он

ждет нас у наоя; пойдем!» С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку... и вот уже они стоят рядом... им подают брачные свечи... Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым хохотом окружает невесту; Юрий ищет своей сабли – ее нет; хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на холодный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто б пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса... кругом толпится народ... радость на всех лицах... тихое, очаровательное пение раздается в храмах господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце... Она опять возле него; на правой руке ее обручальный перстень... Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, скоро заблестит в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе...» Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слышит вопли отчаяния... Она опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»

VIII



Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попеременно то терзают, то улаждают его душу, мы должны возвратиться к новобрачным, которых оставили посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая молодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дети выбегали из хижин; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребяташки, дрожа от страха и холода, забежали вперед и робко поглядывали на колдуна, который, приближаясь к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. Не дойдя несколько шагов до ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборотясь назад, закричал диким голосом:

– Стойте, ребята! никто ни с места!

Глухой шепот пробежал по толпе; передние стали пятиться назад, задние полезли вперед, следуя народной пословице: «на людях и смерть красна», каждый прижимался к своему соседу, и, несмотря на ужасную тесноту, один Кирша вышел вперед.

Меж тем Кудимыч делал необычайные усилия, чтоб подойти к воротам; казалось, какая-то невидимая сила тянула его назад, и каждый раз, как он подымал ногу, чтоб перешагнуть

через подворотню, его отбрасывало на несколько шагов; пот градом катился с его лица. Наконец, после многих тщетных усилий он, задыхаясь, повалился на землю и прохрипел едва внятным голосом:

– Ох, неловко!.. Неладно, ребята!.. Чур меня, чур!.. Никто не моги трогаться с места!.. Ох, батюшки, недаровое! быть беде!..

От этих ужасных слов шарахнулась вся толпа; у многих волосы стали дыбом, а молодая почти без чувств упала на руки к своему отцу, который трясся и дрожал, как в злой лихорадке.

– Что нам делать? – спросил дьяк, заикаясь от страха.

– погоди! дай попытаюсь еще, – отвечал Кудимыч, приподнимаясь с трудом на ноги. Он пробормотал несколько невнятных слов, дунул на все четыре стороны и вдруг с разбега перепрыгнул через подворотню.

– Ну, теперь не бойтесь ничего! – закричал он. – Наша взяла! Все за мной!

Он несколько раз должен был повторить это приглашение, прежде чем молодые, родня и гости решились за ним следовать; наконец, пример Кирши, который по первому призыву вошел на двор, подействовал над всеми. Кудимыч, подойдя к дверям избы, остановился, и когда сени наполнились людьми, то он, оборотясь назад, сказал:

– Я войду последний, а вы ступайте вперед и посмотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой.

Тут снова начались церемонии: приказчик предлагал дьяку идти вперед, дьяк уступал эту честь приказчику.

– Помилуй, батюшка, – сказал, наконец, последний, – я здесь хозяин в доме, а ты гость: так милости просим.

– Ни, ни, Фома Кондратьич! – отвечал дьяк. – Ты первый служебник боярский, и непригоже мне, как фальшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебе чести.

– Ну, если так, пожалуй, я войду, – сказал приказчик, в котором утешенное самолюбие победило на минуту весь страх. Он перекрестился, шагнул через порог и вдруг, отскоча с ужасом, закричал:

– Чур меня, чур! Там кто-то нашептывает... Иди кто хочет, я ни за что не пойду...

– Пустите меня, – сказал Кирша, – я не робкого десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.

– Ступай, молодец, ступай! – закричали многие из гостей.

– Пускай идет, – шепнул приказчик дьяку. – Над ним бы и тряслось! Это какой-то прохожий, так не велика беда!

Кирша вошел и расположился преспокойно в переднем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся свадебная компания перебрались понемногу в избы, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на полатах, покачивалась из стороны в сторону и шептала какие-то варварские слова. Кирша заметил на полу, под самыми полатами, несколько снопов соломы, как будто без намерения брошенных, которые тотчас напомнили ему, чем должна кончиться вся комедия.

– Ну, теперь садитесь все по лавкам, – закричал из сеней Кудимыч, – да сидите смирно! никто не шевелиться!

Едва приказ был исполнен, как он с одного скачка очутился посреди избы, и в то же время старуха с диким воплем стремглав слетела с полатей и растянулась на соломе.

Все присутствующие, выключая Кирши, вскрикнули от удивления и ужаса.

– Что, Григорьевна, будешь ли напередки со мною схватываться? – сказал торжественно Кудимыч.

– Виновата, виновата! – завизжала старуха.

– Ага, покорила, старая ведьма!

– Виновата, отец мой! виновата!

– То-то, виновата! Знай сверчок свой шесток.

– Виновата, Архип Кудимович!

– Ну, так и быть! повинную голову и меч не сечет; я ж человек не злой и лиха не помню. Добро, вставай Григорьевна! Мир так мир. Дай-ка ей чарку вина, посади ее за стол да угости хорошенько, – продолжал Кудимыч вполголоса, обращаясь к приказчику. – Не надо с ней ссориться: неровен час, меня не случится... да, что грех таить! и я насилиу с ней справился: сильна, проклятая!

– Милости просим, матушка Пелагея Григорьевна! – сказал приветливо хозяин. – Садись-ка вот здесь, возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста: за что такая немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали.

– Нет, батюшка! – отвечала с низким поклоном старуха, – против тебя у меня никакого умысла не было; а правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Кудимовичем.

– Да, видно, не под силу пришел! – перервал, усмехаясь, колдун. – Вперед наука: не спросясь броду, не суйся в воду. Ну, да что об этом толковать! Кто старое помянет, тому глаз вон! Теперь речь не о том: пора за хозяйский хлеб и соль приниматься.

В одну минуту весь стол покрылся разными похлебками. Сначала все ели молча; но дружки так усердно потчевали гостей вином и брагою, что вскоре все языки пришли в движение и общий разговор становился час от часу шумнее. Один Кирша молчал; многим из гостей и самому хозяину казалось весьма чудным поведение незнакомца, который, не будучи приглашен на свадьбу, занял первое место, ел за двоих и не говорил ни с кем ни слова; но самое это равнодушие, воинственный вид, а более всего смелость, им оказанная, внушали к нему во всех присутствующих какое-то невольное уважение; все посматривали на него с любопытством, но никто не решался с ним заговорить.

В числе гостей была одна пожилая сенная девушка, которая, пошептав с хозяином, обратилась к Кудимычу и спросила его: не может ли он пособить ее горю?

– Неравно горе, матушка Татьяна Ивановна! – отвечал Кудимыч, которого несколько чарок вина развеселили порядком. – Если ты попросишь, чтоб я убавил тебе годков пяток, так воля твоя – не могу.

– Вот еще что вздумал! – сказала сенная девушка с досадою. – Разве я перестарок какой! Не о том речь, Кудимыч; на боярском дворе сделалась пропажа.

– Уж не коня ли свели?

– Нет, красна пропали. Вчера я сама их видела: они белились на боярском огороде, а сегодня сгнули да пропали. Ночью была погода, так и следу не осталось: не знаем, на кого подумать.

– Что, видно, без меня дело не обойдется?

– То-то и есть, Архип Кудимович: выкупи из беды, родимый! Ведь я за них в ответе.

– Пожалуй, я не прочь!.. Иль нет: пускай на мировой вся честь Григорьевне. Ну-ка, родная, покажи свою удаль!

– Смею ли я при тебе, Архип Кудимович! – отвечала смиренно Григорьевна.

– Полно ломаться-то, голубушка! я уж поработал, теперь очередь за тобою.

– Ну, если ты велишь, родимый, так делать нечего. Подайте мне ковш воды.

При самом начале этого разговора глубокая тишина распространилась по всей избе: говоруны замолкли, дружки унялись потчевать, голодные перестали есть; один Кирша, не обращая ни малейшего внимания на колдуна и колдунью, ел и пил по-прежнему. Григорьевне подали ковшик с водой. Пошептав над ним несколько минут, она начала пристально смотреть на поверхность воды.

– Ах, батюшки-светы! – сказала она, наконец, покачав головою. – Кто бы мог подумать!.. Мужик богатый, семейный, а пустился на такое дело!..

– Кого ж ты видишь? – спросил с нетерпением приказчик. – Говори!

– Нет, батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вот, смотри сам.

– Я ничего не вижу, – сказал приказчик, посмотрев на воду.

– А видишь ли ты, где боярские красна? – спросила сенная девушка.

– Вижу, – отвечала Григорьевна, – они в овине, на гумне у Федьки Хомяка.

– Так это он? – вскричал приказчик. – Тем лучше! Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу этого буяна; суший разбойник, и перед моим писарем шапки не ломает!.. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на гумно к Хомяку!

Один из дружек вышел поспешно из избы.

– Ну, Григорьевна! я не ожидал от тебя такой прыти, – сказал Кудимыч, – хоть бы мне, так впору. Точно, точно! – прибавил он, посмотрев в ковш с водою, – красна украл Федька Хомяк, и они теперь у него запряваны в овине.

– Вы лжете оба! – закричал громовым голосом Кирша. Кудимыч вздрогнул, Григорьевна побледнела, и все взоры обратились на запорожца. – Я вас выучу колдовать, негодные! – продолжал Кирша. – Вы говорите, что красна в овине у Федьки Хомяка?

– Ну да, – сказал Кудимыч, оправясь от первого замешательства. – Что ты, лучше моего, что ль, это знаешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.